***МЕМУАРЫ ХХ ВЕКА***

**И. Л. КЛЕЙМАН**

**Из воспоминаний в письмах**

**Публикация, вступительная заметка и пpимечания Всеволода Вихновича**

**Опубликовано в журнале:**[**«Звезда» 1999, №12**](http://magazines.russ.ru/zvezda/1999/12/)

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

ИРМА КУДРОВА

**ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ: МАРИНА ЦВЕТАЕВА**

...все дело в том, чтобы мы любили, чтобы у нас билось сердце - хотя бы разбивалось вдребезги! Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи - те самые серебряные сердечные дребезги.1

ева

Уже давно, читая и перечитывая цветаевские тексты о любви - поэтические особенно, - я стала отмечать в них странности. Цветаевское "люблю" подозрительно часто не укладывалось в представление о чувствах, привычно связанных с этим словом, оказывалось в некой нестандартной цепочке причин и следствий, эмоций и понятий. Собрание сочинений и писем Цветаевой, вышедшее в 1994-1995 гг. в Москве, в совокупности с появлением "Cводных тeтрадей" (1997) дали основательную пищу для размышлений.

Классифицировать поэтические и прозаические высказывания поэта оказалось нелегко. И даже невозможно. Не из-за того, что их так много (очень много!), и не из-за их противоречивости (в них внятно просматривается своя последовательность), а потому, главным образом, что в необычайно богатом мире Цветаевой обнаружилось неисчислимое количество граней любовного чувства. И каждая, как сказала бы Цветаева, важнее другой. Так что нелегко отобрать среди них наиважнейшие.

В предлагаемом далее тексте - много цитат; может показаться, что слишком много, но я делаю это осознанно, ибо слишком необычен предмет. При опосредованной передаче во многих случаях было бы труднее ощутить искренность сказанного.

**1**

Не знаю, насколько правомерно назвать странностью "многолюбие" Цветаевой. Но в самом деле, в ее биографии поражает чуть ли не непрерывная череда влюбленностей, и не только в молодые годы, но и в возрасте, что называется, почтенном. Банальная странность, можно было бы сказать - если бы речь шла о мужчине, - и все выглядит иначе, если мы говорим о женщине. Традиционная мораль неодобрительно сдвигает брови, и успехи эмансипации ни на йоту не смягчают ее оценок. Можно, правда, напоминать об особенностях "творческих" женщин вроде Жорж Санд, например, однако сколько-нибудь серьезно это делу не помогает.

Если бы Цветаева просто была влюбчива! Но ее страстью было проживать живую жизнь через слово; она всегда именно с пером в руках вслушивалась, вчувствовалась, размышляла. И потому то, что у людей других профессий остается обычно на периферии памяти и сознания, то, что, как правило, скрыто от ближних и дальних (а нередко даже и от себя), - у Марины Цветаевой почти всякий раз выведено за ушко да на солнышко. То есть чернилами на чистый лист бумаги - из присущего ей пристального внимания к подробностям своей душевной жизни, постоянно ускользающим в небытие. И как результат, в наследии Цветаевой нам оставлено множество сокровенных свидетельств; чуть не каждая вспышка чувств, каждый сердечный перебой зафиксированы, высвечены и стократно укрупнены сильнейшим прожектором - в стихах и прозе. На радость всем, кто заинтересуется. И, конечно, слетаются заинтересовавшиеся; тонкому "ценителю" предстает сладкий простор для обсуждения (и осуждения) сердечных причуд художника. Такова природа человека: едва иные особенности нашей душевной жизни, привычно умалчиваемые, вытаскиваются из подполья на свет Божий, - мы их не узнаём и не признаём.

Изученность биографии Цветаевой уже сегодня позволила бы составить нечто похожее на "донжуанский список" нашего классика. Правда, принцип отбора имен пришлось бы изменить, потому что в нашем случае список составили бы все-таки не "любовные связи" в их установившемся значении, а именно сердечные увлечения и влюбленности. Это разница - но она как-то легко исчезает из памяти желающих посудачить. Напомню пассаж из цветаевской прозы - "Дом у "Старого Пимена"": "Когда я все дальше и дальше заношу голову в прошлое, стараясь установить, уловить, кого я первого, самого первого в самом первом детстве, до-детстве, любила, - отчаиваюсь, ибо у самого первого (зеленой актрисы из "Виндзорских проказниц") оказывается еще более первый (...), а у этого самого - еще более самый (...) и т.д. и т.д.(...), когда оказывается, по слову поэта:

Я заглянул во столько глаз,  
Что позабыл я навсегда,  
Когда любил я в первый раз  
И не любил - когда? -

а я сама - в неучтимом положении любившего отродясь, и до-родясь: сразу начавшего со второго, а может быть, с сотого..." (5, 123).

Эта особенность натуры Марины Цветаевой - жаркая влюбчивость - была в свое время жестко охарактеризована в известном письме ее мужа Максимилиану Волошину, написанном в ноябре 1923 года, то есть тогда, когда разворачивался жизненный "подстрочник" прекраснейшей из поэм о любви, созданной в нашем веке, - "Поэмы Конца". Вот отрывок из этого письма: "М. - человек страстей. Отдаваться с головой своему урагану стало для нее необходимостью, воздухом ее жизни. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая - все обращается в пламя. Дрова похуже - скорее сгорают, получше - дольше. (...) Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно. (...) Нужно было каким-то образом покончить с совместной жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр. и пр. ядами(...) О моем решении разъехаться я и сообщил М. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому (на это время она переехала к знакомым). Не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя.

М. рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если бы и не говорила, для меня это было бы очевидным..."

Выбор слов и интонация всегда определены в нашей речи внутренней оценкой. О том же "сюжете" можно было бы рассказать иначе, спокойнее, и все выглядело бы по-другому. В письме Сергея Яковлевича Эфрона явственно ощутимо сгущение красок, продиктованное мучительной ревностью и страданием. Для извлечения истины корректировка тут необходима. А все же главному можно верить. Отметим только существеннейший момент: Эфрон относит все названное им не к нравственной испорченности или легкомыслию жены, а к особенностям ее природного склада, к силе стихийного урагана, которой она подвластна.

Вернувшись в 1939 году из эмиграции на родину, Цветаева стала писать - по предложению Евгения Тагера - свою автобиографию для Литературной энциклопедии. Закончила - и тут же, в продолжение биографических размышлений о событиях и датах, принялась писать стихи. Они остались неоконченными, но и с недописанными строками хороши:

Всем покадили и потрафили  
- - - стране - родне -  
Любовь не входит в биографию  
Бродяга остается вне.  
  
Все даты, кроме тех, недознанных,  
Все сроки, кроме тех, в глазах,  
Все встречи, кроме тех, под звездами,  
Все лица, кроме тех, в слезах...  
  
Многие мои! О пьющие  
Душу прямо у корней.  
О в рассеянии сущие  
Спутники души моей!  
.................

Запись, сделанная Цветаевой в те же дни, звучит как комментарий и расшифровка: "Всеми моими стихами я обязана людям, которых любила - которые меня любили - или не любили". Это признание записано в январе 1940 года сорокасемилетней Цветаевой.

**2**

Молодая цветаевская поэзия щедро и виртуозно, на все голоса, славит земную любовь. Мы слышим голос воинственной амазонки: "Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес..." и рядом - голос женщины, нежнейше растворенной в любимом: "Я деревня, черная земля. / Ты мне - луч и дождевая влага. / Ты - Господь и Господин, а я - / Чернозем и белая бумага". А еще слышим голос радости и голос страдания, призывное кокетство и отчаянную жалобу, заверение в преданности и декларацию свободы... Вся многоликость любовного чувства обретает слово в лирике молодой Цветаевой.

В эти годы она не просто славит любовь - в ее поэзии упоенно восславлено именно многолюбие.

Кто создан из камня, кто создан из глины,  
А я - серебрюсь и сверкаю.  
Мне дело - измена, мне имя - Марина,  
Я бренная пена морская...

И если декларируется в молодых цветаевских стихах верность, то это особая верность - собственному сердцу:

Никто, в наших письмах роясь,  
Не понял до глубины,  
Как мы вероломны - то есть  
Как сами себе верны.

Голос юного существа, примеряющего к себе маски дерзкой Мариулы, "танцовщицы и свирельницы", обольстительной Кармен и даже всем покорной Манон, - этот голос звенит у молодой Цветаевой вызовом, озорством, кокетливым поддразниванием. И нелепо было бы трактовать с тяжеловесной серьезностью эти изящно-веселые стихи.

Даже в тяжкие для нее годы - первые годы революции - она напишет немало бесшабашно-веселых стихов в духе Омара Хайяма:

Шампанское вероломно,  
А все ж наливай и пей!  
Без розовых без цепей  
Наспишься в могиле черной.  
  
Ты мне не жених, не муж,  
Моя голова в тумане.  
А вечно одну и ту ж  
Пусть любит герой в романе!

Надо, однако, не иметь чувства юмора, чтобы не расслышать тут молодого озорства, шутки, игры. И еще в первых цветаевских пьесах, тех, что были написаны в голодной и холодной революционной Москве, продолжают звучать те же мотивы. Тогда созданы были, в частности, "Приключение" и "Конец Казановы". Возвеличен ли в них знаменитый венецианец? Не похоже. Очарователен? Несомненно.

"Повесть о Сонечке" написана уже в 1937-1938 годах. Воскрешает она год 1919-й. За истекшие почти двадцать лет Цветаева во многом изменилась, - и все же воссоздала она атмосферу, ту себя и ту Сонечку с благоговейно-бережным чувством.

Что же такое Сонечка Голлидэй, какова сердцевина ее существа, если попробовать ее назвать?

Это больше всего другого - неуемная жажда любви. Любить, говорит Цветаева, было "ее призвание - и назначение". "Как я люблю - любить!" - повторяет Сонечка не однажды. Замечателен в "Повести" рассказ о Сонечке-гимназистке, которая всем предметам предпочитала географию. Потому что на этом уроке особенно легко было вообразить, как много на свете городов и островов, - и "на каждой точке этого земного шара (...) тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить. (...) Благословляю того, кто изобрел глобус (...) - за то, что могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар - со всеми моими любимыми!"

Автор повести поясняет: "Сонечкино любить было - быть, (...) сбыться" (4, 305, 314, 321). "Быть" в цветаевском лексиконе - важное слово, означающее полноту самоосуществления личности; мы с ним еще столкнемся.

Несмотря на то что в повести Цветаева как бы покровительственно улыбается горячим речам своей героини, Сонечка - почти что аltеr еgо автора, - это отмечала в свое время в разговорах со мной Анастасия Цветаева. "Я точно то же слышала о любви не от Сонечки, которую не знала, а от самой Марины!" - говорила сестра поэта. И в самом деле: разве не воздвигнуты "Гималаи любви" в цветаевской лирике и не подтверждает Сонечкины речи цветаевское многолюбие, о котором мы только что говорили?

Работая над биографией поэта, я, помню, нарочно выбрала для медленного рассмотрения 1923 год - из чешского периода жизни Цветаевой. Мне хотелось понять, как совместились в этом году три любви, оставившие яркий письменный след: в феврале - взрыв чувств к приехавшему ненадолго (в Берлин, не в Прагу!) Пастернаку; в августе - страдания о никогда не виденном Александре Бахрахе; наконец, в сентябре-декабре - вихревая страсть к Родзевичу? Издали - вне житейских конкретностей - это было совершенно непонятно. Как, впрочем, непонятно издали все непривычное.

Я скрупулезно восстановила течение дней того года, увидела, из чего именно он сложился для Цветаевой внешне и внутренне. И тогда передо мной оказались не причуды легкомысленной женщины, не самовзвинчивание, но ее природа, органика. Та самая, которая рождала такую, а не иную, поэзию, такую, а не иную любовь, не нуждавшуюся в защите от досужих толков.

А теперь процитируем отрывок из письма Цветаевой к Ариадне Черновой - это уже 1925 год. Здесь сказано важное: "Всякая жизнь в пространстве - самом просторном! - и во времени - самом свободном! - тесна. Вы не можете, будь у вас на руках хоть все билеты на все экспрессы мира - быть зараз и в Конго, (...) и на Урале, и в Порт-Саиде. Вы должны жить одну жизнь, скорей всего - Вами не выбранную, случайную. И любить сразу, имея на это все права и все внутренние возможности, Лорда Байрона, Генриха Гейне и Лермонтова, встреченных в жизни (предположим такое чудо!), Вы не можете. В жизни, Аденька, ни-че-го нельзя - nichts - riеn. Поэтому - искусство(...) Из этого - искусство, моя жизнь, как я ее хочу, не беззаконная, но подчиненная высшим законам, жизнь на земле, как ее мыслят верующие - на небе..." (6, 670).

Этот постулат Цветаева повторит не однажды. И что это, как не рациональное обоснование возвеличенного в ее молодых стихах радостного многолюбия? Жизнь человека коротка и ограничена тысячью ограничений. Но сердце в груди полно неизбывного жара. И если живая реальность скупа, отыграться можно в творчестве! Так актер, отдаваясь своему ремеслу, проживает на сцене множество жизней. "Из этого - искусство". Лирика способна восполнить разреженность, неполноценность жизненных встреч. И еще: в стихах легко раздуть искру в яркое пламя, едва родившееся чувство пережить во всей полноте.

Но это означает - для добросовестного биографа, критика и читателя, - что из материала стихов нельзя прямолинейно выстраивать жизнеописание поэта. Автобиографическая основа чаще всего в поэзии присутствует, но именно как основа! В тетрадях Цветаевой сохранились ее пометы, сделанные рядом с тем или иным текстом стихотворения: "На самом деле ничего этого не было..." Существует и признание в одном из писем: "Во весь рост я живу в стихах, в людях - не дано..." (7, 621).

**3**

Перейдем теперь к еще одной странности, также особенно неожиданной в женщине. В самые разные периоды своей жизни Цветаева говорит о ненужности для нее взаимной любви, а также о нежелании совместной жизни с человеком, которого она любит.

"Я знаю только одну счастливую любовь, - писала она Пастернаку в 1931 году, - Беттины к Гете. Большой Терезы - к Богу. Безответную. Безнадежную. Без помехи приемлющей руки. Как в прорву". В другом месте: "Мне пару найти трудно - не потому, что я пишу стихи, а потому, что я задумана без пары, состояние парой для меня противоестественно: кто-то здесь лишний, чаще - я..." Все дело, продолжает Цветаева, "в несвойственности для меня взаимной любви, которую я всегда чувствовала тупиком: точно двое друг в друга уперлись - и все стоит" (НСT, 462).2

Это признания, сделанные уже в зрелые годы. Но еще в далеком 1916 году она пишет своему юному другу Петру Юркевичу: "С самого моего детства, с тех пор, как я себя помню, мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили. Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это - любовь. А то, что вы называете любовью (жертвы, верность, ревность), берегите для других, для другой, - мне этого не нужно. (...) А я хочу легкости, свободы, взаимопонимания - никого не держать и чтобы никто не держал!" (6, 24-25).

Она убежденно говорила о трагической невозможности "из любви устроить жизнь, из вечности - дробление суток" (6, 725). Однако не расходятся ли эти признания с жизненной практикой самой Цветаевой, - ведь мы знаем, что она прожила в замужестве всю свою жизнь? Нет, не расходятся. Может быть, даже подкрепляются, хотя Сергей Эфрон с первых же дней их совместной жизни добровольно принял лидерство жены в семье и проявлял чудеса терпения и выдержки почти все годы их совместной жизни.

Но есть показательные свидетельства: едва соединившись с мужем осенью 1922 года - после четырехлетней разлуки во время гражданской войны, - Цветаева создает в стихотворении "Река времени" жесткие формулы единоличной самодостаточности:

Но тесна вдвоем  
Даже радость утр...  
Оттолкнувшись лбом  
И подавшись внутрь,  
  
Над источником -  
Слушай - слушай, Адам,  
Что проточные  
Жилы рек - берегам:  
  
Ты и путь и цель,  
Ты и след и дом.  
Никаких земель  
Не открыть вдвоем.  
.................

"Человек задуман один, - это повторит она снова и снова. - Где двое - там ложь" (5, 239). Со всей откровенностью она напишет об этом Пастернаку в 1923 году: "Как жить с душой - в квартире? В лесу может быть - да. В вагоне может быть - да..." И тут же: "Не живя с Вами, я всю жизнь буду жить не с теми, но мне не важно с кем: кем. Живя Вами, я всю жизнь буду жить - ТЕМ" (НСТ, 130). Слово "тем" - написано здесь прописными буквами, то есть (рискнем расшифровать): "жить тем высоким строем чувств и мыслей, в котором я только и нуждаюсь..." Подчеркнем: "живя Вами", а не "с Вами"...

Эти признания, естественно, бросают свой блик на брак Цветаевой. Соединение судьбы с Эфроном, что произошло, напомню, в 1911 году, уже к середине 20-х годов Марине представлялось ошибкой. Прочтем ее запись в сокровенной тетради: "Личная моя жизнь, т.е. жизнь моя в жизни (т.е. в днях и местах) не удалась... Думаю, 13-летний опыт (ибо не удалась сразу) достаточен. Причин несколько. Главная, что я - я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных - прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке" (НСТ, 270-271).

И на что же горячее всего откликается муза Цветаевой? Тут царят безраздельно две ипостаси любви: ее зарождение - и боль разлуки. Что до осуществления - в нашем распоряжении разве что мрачная строка: "середина любви - пуста". В прозе сказано еще отчетливее: о решительном предпочтении полноты желаний - пустоте счастья, и еще о том, что "от исполнения всех желаний ей (Анне Карениной. - И. К.) ничего другого не осталось, как лечь на рельсы..." (5, 72).

**4**

Но если не обязательна ответная любовь и навечная соединенность с любимым, то разве привычное, понятное нам любовное чувство не предполагает хотя бы желания встречи с тем, кто тебе дорог?

Вот это желание, действительно, сильно выражено в цветаевских текстах. Но странным образом тут же отчетливо ощутима неизменно сопутствующая желанию опаска. Если перечитать цветаевские переписки, которые принято называть романическими (с Бахрахом, с Пастернаком, с Рильке, со Штейгером), мы встретим там не однажды подробнейшее обсуждение возможностей будущей встречи. Но едва встреча приобретает более или менее реальные очертания, Цветаева от нее явственно уклоняется. Она начинает оттягивать сроки, переносить встречу на более отдаленнное время. Так было в двадцать шестом году с Пастернаком, так непоправимо упустила она встречу с Рильке, даже прочитав в его письме внятную фразу: "Не откладывай до весны!" Так повторилось и через десять лет в истории с Анатолием Штейгером. Причины оттяжки высказываются самые разные, и как раз это-то и выдает одну, главную: страх. Чего же?

Того, что встреча будет не та, о которой мечталось. Помешает быт - обстановка - или чужие люди, соглядатаи. Тогда она уже не сможет быть собой: свободной, на себя похожей, такой, какова она в письмах. И вся высота отношений тут же рухнет. "Я не люблю встреч в жизни - сшибаются лбами. Две глухие стены. (...) Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой, еще лучше - радугой, где под каждым концом - клад..." "Чем дальше основы арки, тем выше арка. Для нужной нам высоты нам нужно отойти очень очень очень далеко..." (НСТ, 148 и 138) - все это в черновиках писем Пастернаку. А рядом с этим создаются стихи, исполненные тоской разминовения и горчайшей горечью разлуки! (Цикл "Провода", "Расстояния, версты, дали...", "Сахара" и др.)

Программно звучит ее стихотворение "Заочность", созданное в 1923 году. Уже самые первые его строки знаменательны:

Кастальскому току,  
Взаимность, заторов не ставь!  
Заочность: за оком  
Лежащая вящая явь.

И далее - чуть ли не гимн разъединенности:

Блаженны длинноты,  
Широты забвений и зон.  
Пространством как нотой  
В тебя ударяясь, как стон  
  
В тебе удлиняясь,  
Как эхо в гранитную грудь  
В тебя ударяясь:  
Не видь и не слышь и не будь -  
  
Не надо мне белым  
По черному - мелом доски!..  
....................

Итак, иррациональный страх? И здесь же - рациональное его обоснование: просторы между любящими необходимы еще и потому, что взаимная любовь слишком мешает творчеству - "кастальскому току"!

Больной Анатолий Штейгер (это уже 1936 год) был горько обижен тем, что Цветаева, несмотря на все ее уверения в нежности и преданности, не делает даже попыток приехать к нему, хотя она была в это время так близко - их разделяли всего несколько километров: он в Швейцарии, она во французской горной Савойе. Оправдываясь, Цветаева поясняет: "Я-то - такой соловей, басенный, меня - хлебом не корми - только баснями! я так всю жизнь прожила, и лучшие мои любови были таковы(...) Я отлично умею без всего - и насколько мне отлично - с немножким" (7, 582). Потому что, как она пишет, "у меня такая сила мечты, с которой не сравнится ни один автомобиль..." (7, 572).

Поставим в этот ряд и рассказ Цветаевой о ее воображаемых свиданиях с Пастернаком. Они продолжались целый месяц поздней осенью 1922 года на крохотной сырой станции под Прагой, когда пришло известие о том, что Борис Леонидович приехал из Москвы в Берлин. "Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад-вперед по темной платформе - далеко! И было одно место - фонарный столб - без света, сюда я вызывала Вас - "Пастернак"! И долгие беседы бок о бок - бродячие" (6, 229-230).

А вот и еще признание, тем более интересное, что оно совсем не из любовной сферы. "В годы гражданской войны я была в Москве не с большевиками, а с белыми. (...) Большевиков я как-то не заметила, вперясь в Юг, их заметила только косвенно(...) У меня: любить одно - значит не видеть другого" (НСТ, 76-77). Мы можем доверять этим словам - это лишь констатация живой реальности: Цветаева и в самом деле живет реальнее всего в мире своих чувств, мыслей, привязанностей, тревог. Она ходит на рынок, учит с сыном уроки, штопает чулки и бывает в гостях, но все это в той внешней реальности, которая - при всей ее осязаемости и очевидности - гораздо менее значима для нее, чем другая - внутри, непрестанно движущаяся по совсем иным рельсам. Пастернаку она напишет однажды: "Вы у меня в жизни не умещаетесь, очевидно(...) Вы в ней не(...) живете. Вас нужно искать, следить где-то еще(...) Вы точно вместо себя посылаете в жизнь свою тень, давая ей все полномочия" (6, 226).

Но это столько же о Пастернаке, сколько и о самой Цветаевой! "Я в сущности не живу в днях..." - признавалась она сама.

Спустя тpинадцать лет после начала их переписки они встретятся в 1935 году в Париже, и встреча принесет обоим боль и разочарование; в сущности, то была "не-встреча". Свою роль тут сыграли причины, не зависевшие от обоих, но, по цветаевскому убеждению, иначе и быть не могло: не то, так это с неотвратимой неизбежностью мешает любящим при свидании...

**5**

Изредка она высказывается о том, как представляет себе истинную любовь.

Она вспоминает (в разное время, в разных текстах) три имени, когда размышляет о такой любви. Одно имя - литературное: это подросток Нино в романе Генриха Манна "Богини". Цветаева с увлечением читала этот роман еще до замужества: "Он понимал, - пишет Цветаева о Нино в письме к Волошину весной 1911 года, - он принимал ее (герцогиню де Асси. - И. К.) всю, не смущался никакими ее поступками, зная, что все, что она делает, нужно и должно для нее. (...) Она - грешница перед чеховскими людьми, (...) и святая перед собой и всеми, ее любящими" (6, 41-42).

Другое имя, называемое в той же связи, - реальное. Это некий Прилуков - свидетель в одном нашумевшем судебном процессе начала 1910-х годов; о нем много писали тогда газеты. На протяжении долгих лет этот Прилуков, преданно любивший подсудимую издалека, неизменно приходил к ней на помощь в самых трудных - и даже сомнительных - обстоятельствах, ничего не требуя от любимой женщины взамен. В 1924 году Цветаева писала о нем Бахраху: "Прилуков для меня наисовершеннейшее воплощение мужской любви, любви - вообще(...) Прилуков мирит меня с землей; это уже небо. (...) Человек всю любовь брал на себя, ничего для себя не хотел, кроме как: любить" (6, 620-621).

И третий пример, который Цветаева вспоминает, - из собственных жизненных впечатлений. Это влюбленный в юную Марину 11-летний мальчик Осман, встреченный ею в Крыму, в Гурзуфе, весной того же, 1911 года. В сущности то был вариант манновского Нино, лишь подтвердивший живую возможность безоглядной преданности и любви. О нем Цветаева вспоминала с благодарной нежностью уже в зрелые свои годы.

Она прекрасно понимает: не каждый может любить так бескорыстно и жерт\_венно. "Только старик (тот, кому ничего не нужно) умеет взять, принять все, т.е. дать другому возможность быть, приняв избыток" (6, 284).

Тут снова, мы видим, включается цветаевское понятие "быть", весьма отличающееся от просто "жить", ибо означает следование человека его глубинным потенциям, без оглядки на мнение и оценки других людей. Быть собой, всей собой, как пишет Цветаева неоднократно, пусть даже остаться непонятой в желаниях, реакциях и поступках; быть непонятой, но не осуждаемой любящим человеком - вот идеал отношений.

В другом месте переписки с Бахрахом она немного расширит список тех, кто способен к такой любви: "Могут: дети, старики, поэты..." (6, 621). И она сама это умела: "Я сама так любила 60-летнего кн(язя) Волконского, не выносившего женщин. Всей безответностью, всей беззаветностью любила и, наконец, добыла его - в вечное владение! Одолела упорством любови" (там же). И еще о нем же - Штейгеру: Волконского, настаивает она, "я больше всех и моее всех на свете любила" (7, 581).

Любовь к Волконскому - это 1921 год. Их нежнейшая привязанность друг к другу растянулась на полтора десятилетия, и трудно утешиться при мысли, что переписка их бесследно пропала. Но еще в юные годы Цветаева жаловалась Юркевичу: "Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, который мне чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, "пожалеть", что он пугается - или того, что я его люблю, или того, что он меня полюбит и что расстроится его семейная жизнь. Этого не говорят, но мне всегда хочется сказать, крикнуть: Господи Боже мой! Да я ничего от Вас не хочу. Вы можете уйти и вновь прийти, уйти и никогда не вернуться - мне все равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме своей души!" (6, 24-25).

О том же сказано и в строках стихотворения, обращенного к Евгению Ланну:

Я серафим твой, радость на время...  
Да не смутит тебя сей - Бог весть -  
Вздох, всполохнувший одежды ровность.  
Может ли на устах любовниц  
Песня такая цвесть?..

"Не любовницей - любимицей" - вот кем она всегда хотела стать для тех, кто ей был дорог.

В ее письмах мы встречаемся с повторяющимся не однажды уверением: так Вас никто никогда... Читаем - и договариваем про себя привычное: никто и никогда так сильно не любил. Но нет: так - то есть так бескорыстно, самоотреченно, так чисто, как любят только дети и старики...

Эта проницательная умница с величайшей неохотой избавлялась от прекраснодушных иллюзий в сфере любовных отношений между людьми. В юности - и не только в юности! - она убеждена была, что личное счастье целиком зависит от нее самой, что ее бескорыстие и умение владеть своими чувствами - достаточный залог для обретения этого счастья. "Я буду счастлива, - писала она Фельдштейну еще в 1913 году, - я знаю, что существенно и несущественно, я умею удерживаться и не удерживаться, у меня ничего нельзя отнять. Раз внутри - значит мое. (...) Я внешне ничего не беру..." (6, 106).

"Мне ничего не надо", - повторяла она и позже.

Но так ли? Разве ей не приходилось подчас переживать не слишком рафинированные чувства? А ее классическая "Попытка ревности"?

Да, она знала и эти чувства и посвящала этому стихи - потому что муза ее фиксировала, как уже мы говорили, любой сердечный перебой. Но при этом она всегда знала высшее над собой и стремилась к нему: "Научиться жить любовным настоящим человека, как его любовным прошлым, - вот то, чего я себе, уже 20-ти лет, от любви желала" (6, 612). "Не ревновать и не клясть!" - таков, во всяком случае, был ее идеал.

И она умела "перебарывать" в себе не слишком высокие чувства. В стихотворении, обращенном к юному Мандельштаму:

...Когда и как и кем и много ли  
Твои целованы уста -  
Не спрашиваю. Дух мой алчущий  
Переборол сию мечту.  
В тебе божественного мальчика  
Десятилетнего я чту...

В переписке Цветаевой с Рильке сюжет "перебарывания" предстает нам в его вполне живом варианте. Это относится к эпизоду, когда она вдруг перестает отвечать на письма своего корреспондента. По прошествии срока, понадобившегося для самовзнуздания, с присущим ей безоглядным прямодушием она пояснит причину: "Моя любовь к тебе раздробилась на дни и письма, часы и строки. (...) Ты живешь, я хочу тебя видеть. Перевод из Всегда в Теперь. Отсюда - терзание, счет дней, обесцененность каждого часа, час - всего лишь ступень - к письму. Быть в другом или иметь другого (или хотеть иметь, вообще - хотеть, едино!). Я это заметила и смолкла. Теперь это прошло. С желаниями я справляюсь быстро(...) Такова любовь - во времени. Неблагодарная, сама себя уничтожающая..." (7, 63-64).

Знаменательно, что Рильке нисколько не был шокирован прямотой женщины, о которой он к тому времени почти ничего не знал, кроме того, что она была другом высоко ценимого им русского поэта Пастернака. В его ушах сказанное Цветаевой прозвучало прежде всего темой, достойной ответа на высшем языке - лирическом. И в несколько дней поэт создает свою замечательную "Марина-элегию". Каждое ее слово, каждый образ - поддержка того, о чем писала Цветаева: о любви "во времени" и о любви "в просторах", о губительности присвоения, владения тем, кого полюбил.

**6**

Еще один аспект нашей темы - упорно повторяющийся в цветаевских письмах (почти уговаривающий) мотив: "Любите не меня, а мой мир" (6, 574).

Двадцати трех лет в письме Юркевичу: "Я могу любить только человека, который в весенний день предпочтет мне березу(...) Неужели вы не понимаете, что небо - в тысячу раз больше меня, неужели вы думаете, что в такой день я могу думать о любви - вашей или чьей бы то ни было!" (6, 24).

Спустя семь лет, год 1923-й, в письме Бахраху: "Мне было 20 лет, я то же говорила Вашему любимому поэту Мандельштаму: "Что Марина - когда Москва?! "Марина" - когда Весна?! О, вы меня действительно не любите!" Меня это всегда удушало, эта узость. Любите мир во мне, не меня в мире. Чтобы "Марина" - значило - мир, а не мир - "Марина". (...) Я, живая, не должна стоять между человеком и стихией. Марины нет - когда море! Если мне, через свою живую душу, удастся провести вас в Душу, через себя - во Всё, я буду счастлива. Ведь Всё - это мой дом, я сама туда иду, ведь я для себя - полустанок, я сама из себя рвусь!" (6, 574).

Из Лондона, где Цветаева гостила у Святополка-Мирского, она пишет письмо Петру Сувчинскому. В те недели (1926 год) она раздражена влюбленностью Мирского; он постоянно "ест ее глазами" - и молчит, как рыба: "Не выношу, когда человек наполнен мною... - пишет Цветаева. - Хочу моим, своим, а не мною. Ведь я себя лично не люблю, люблю свое. Совпадение в своем - вот. А ведь иначе - одиночество, не-встреча, разминовение. Двое сходятся в третьем - да. Но двоим никогда не встретиться в одном из двух или друг в друге. (...)

Мне нет дела до себя. Меня - если уж по чести - просто нет. (...) С собой я тороплюсь - как с умываньем, одеваньем, обедом. (...) Я - это то, что я с наслаждением брошу, сброшу, когда умру. (...) Поэтому тащу человека в свое, никогда в себя, - от себя оттаскиваю: дом, где меня никогда не бывает" (6, 315-317).

Знаменательно, однако: пояснений такого рода - любите не меня, а мой мир - мы не встретим в цветаевских письмах к Рильке и Пастернаку! Понятно почему: тут ей не нужны оговорки, она и так знает, что их нежность друг к другу скреплена "общностью мира" или "совпадением оснований", как выражается Пастернак.

Но что же такое "ее мир"?

Ответить коротко, однозначно и в ее собственных формулировках теперь уже не удастся. Можно лишь собрать по крохам ее высказывания, и это будут по преимуществу полемические характеристики - "от обратного".

В 1936 году, утешая поэта Анатолия Штейгера, отгороженного туберкулезным санаторием от кипучей внешней жизни, она говорит с ним о высших жизненных ценностях, какими она их видит. И это ценности не внешнего мира, а внутреннего - ценности духа, все то, что помогает расти духовному началу в человеке. В представлениях Цветаевой мы встречаемся с четким разграничением "вещественного" - и "существенного", "насущного", что можно считать самой значимой из оценочных координат "ее мира". Хотя "вещественное", как мы сейчас увидим, это, в ее глазах, вовсе не просто "вещи", но все, что уводит человека от глубин бытия.

"Бог дал Вам великий покой затвора, - пишет Цветаева Штейгеру, - сам расчистил Вашу дорогу от суеты, оставив только насущное: природу, одиночество, творчество, мысль..." В том же письме сказано об обратном насущному: "Мой друг: что Вы называете жизнью? Сидение по кафе? (...) Хождение по литературным собраниям - и по политическим собраниям - и выставкам?.." (7, 610).

К "суете", уводящей от существенного, она относит еще и деньги, войны, новости, смену правительств, спорт, идеи, открытия, моду, "общественную жизнь", деловую жизнь, "мужскую жизнь", зрелища, литературные течения, футбол, конгрессы - и даже лекции Бердяева! Такое перечисление мы находим в одном из ее писем, написанных еще за тpинадцать лет до начала переписки со Штейгером, - то есть она вовсе не "подтягивает" свои суждения и советы под случай болезни поэта.

Есть, правда, в ее рассуждениях важная оговорка: все перечисленное "уводит" от суеты, если оно не получило преображения в мире души - "ибо тогда: вода - не вода - и земля - не земля" (НСТ, 219). Оговорка знаменательна. Это значит, что, создавая "Лебединый стан" и "Стихи к Чехии", Цветаева отнюдь не отступала от провозглашенной ею "отстраненности"; наоборот - была в высшей степени последовательна. Потому что в том и другом случае она откликалась не на внешнее. Внешнее, так сильно задевающее душу, перестает быть внешним.

В сущности, ее мир - это мир Вечного во временном.

**7**

Но она не была бы собой, если бы не звучали в ее творчестве и совсем другие мотивы! Бунтующие, опровергающие, опрокидывающие то, что только что было сказано. Ее собственное сердце - как и каждое - полно противоречий; оно способно порой вместить то, что ходячая мораль объявляет несовместимым. Ее же поэзия - это поэзия живой жизни человеческой души, а не придуманных "заоблачностей", не рассудочных построений. Цветаева не только не отворачивается от этих диссонансов - наоборот, "схватывает" их, фиксируя и в лирике, и в личных письмах.

Мы уже мельком отмечали это, сопоставляя "Попытку ревности" с уверениями: "мне в любви ничего не надо". Слышали и гимны "заочности", и декларации о себе как самодостаточной любящей. А при всем том в 1938 году она вдруг признается Ариадне Берг: "Я всю жизнь завидовала: когда-то простым "jeunes filles" (Молодые девушки (фр.).) - с женихами, слезами, придаными и т.д., потом - простым "jeunes femmes" (Молодые женщины (фр.).) - с простыми романами или даже без всяких. (...) Больше скажу - в любви - чего я над собой не делала - чтобы меня любили - как любую - то есть: бессмысленно и безумно - и - было ли хоть раз? Нет. Ни часу" (7, 533).

Лейтмотив ее признаний на протяжении долгих лет - главенство души в любовном чувстве. Мотив не однажды воплощается в поэтических строках:

Ду-ша неустанна в нас,  
И мало ей уст...

Это сформулировано в 1923-м. Но тогда же, почти без пауз, получает поэтическое воплощение и обратное:

Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,  
Утолить нашу душу!) Нельзя, припадя к устам,  
Не припасть и к Психее, порхающей гостье душ.  
Утоли мою душу! - итак, утоли уста.

А в стихотворении, обращенном к Пастернаку, горестно звучит жалоба бесплотного одиночества:

О, печаль  
Плачущих без плеча...

Конечно, любящей женщине нужны и губы и плечо. Но с упорством самоистязателя Цветаева вживается в свой отказ, в свое отречение, ибо она убеждена: расплатой будет жалкий конец любви. Ее жаркие гимны любви платонической тем больше говорят нам об этом, что их автор, по крайней мере, знал и о правде обратного! Об этом свидетельствует эпизод 1928 года, когда молодой друг Цветаевой, поэт Николай Гронский, тяжело переживал новую любовь своей матери и ее уход из семьи. Гронский склонен был безоговорочно обвинять мать, Цветаева же мягко вступилась: "Думал ли ты о последнем часе - в ней - женщины? Любить, это иногда и - целовать. Не только "совпадать душою". Из-за сродства душ не уходят из дому. (...) О, Колюшка, такой уход гораздо сложнее, чем даже ты можешь понять. Может быть, ей с первого разу было плохо с твоим отцом (не самозабвенно - плохо), и она осталась, как 90 или 100 остаются - оставались (...) из стыда, из презрения к телу, из высоты души. (...) Ей за-сорок, - еще 5 лет... И другой. И мечта души - воплотиться, наконец! Жажда той себя, не мира идей, хаоса рук, губ. Жажда себя, тайной. Себя, последней. Себя, небывалой" (7, 203-204).

В судьбе Цветаевой были периоды счастливой земной любви. Тогда она пыталась достичь того, что сама считала идеальным: "душе обрести плоть, слиться с ней вoедино, перестать разъединять". Одна из самых значительных таких попыток - "быть как все" - относится к периоду ее любви к герою "Поэмы Горы" Константину Родзевичу. То была любовь жаркая, взаимная, хоть и недолгая. И спустя много лет Цветаева вспоминала о ней как о самой сильной страсти, пережитой ею в жизни. А в самый разгар любви она признавалась возлюбленному: "Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. (...) Я не умела с живыми! Отсюда сознание: не женщина - дух! (...) Вы, отдавая полную дань иному во мне, сказали: "Ты еще живешь! Так нельзя"" (6, 660). В эти же дни, в другом письме она пишет: "Может быть - этот текущий час и сделает надо мной чудо - дай Бог! - м.б. я действительно сделаюсь человеком, довоплощусь..." (6, 616).

То есть она сама считает свою природу в чем-то ущербной. Но (и в этом "но" вся Цветаева!) почти одновременно она делает признание другому адресату - и там внятно выражена жалоба: любовь пробуждает в ней силы хаоса, а это мешает творчеству!.. "Творчество и любовность несовместимы. Живешь или там или здесь. Я слишком вовлекаюсь..." (6, 617). Мечта "довоплотиться" - и страх хаоса. Ей кажется, что слишком земная любовь оказывается "игралищем каких-то слепых демонов". И это ей уже не в радость. Ибо у нее всегда есть свой надежный оплот - почва под ногами - опора, и она скорее готова потерять любовь, чем этот оплот: свой верный письменный стол...

Не тут ли кроется разгадка пронзительной высоты и страстной напряженности цветаевской лирики? Ибо как раз между этими полюсами и возникает ее ослепительно яркая вольтова дуга: между трезвым пониманием существующего от века миропорядка - и сердцем, жаждущим, невзирая ни на что, счастья...

**8**

Иногда - уже в 1930-е годы - она задавала самой себе горький вопрос: почему ее "любили так мало, так вяло". Вопрос естественный - ведь в молодые годы она была уверена, что чуть ли не обречена на жаркую любовь каждого, с кем встретится!

В 1930-е годы ответ на вопрос, почему любили так мало, уже известен ей - и лучше, чем кому-либо другому: "Боялись моего острого языка, "мужского ума", моей правды, моего имени, моей силы и, кажется, больше всего - моего бесстрашия; наконец, самое простое: я им просто не нравилась. "Как женщина". Т.е. мало нравилась, п.ч. этой женщины было - мало. А если нравилась, то бесконечно-меньше первой встречной. И - правы. Мужчины ищут "страсти", т.е. сильного темперамента (душевные страсти им не нужны, иначе нужна была бы я) - или красоты - или кокетства - или той самой теплоты или (для жены) - "чистоты". (...) Не той страсти, не той красоты, не той игры, не той чистоты, во мне имеющихся. Есть все, но мое, единоличное, в моей транскрипции и - потому - неузнаваемое" (НСТ, 494). Еще и еще признания: "...потому что я не мужчин любила, а души". В письме Бахраху: "Я ведь дух, душа, существо. Не женщина к Вам писала и не женщина к Вам пишет, то, что над, то, с чем и чем умру" (6, 616).

Для этого над она рано нашла имя: Психея. В ее собственной мифологии Психея прежде всего - душа, бесплотность, а Ева - воплощенная плоть. И они всегда во вражде. Цветаева пишет Пастернаку о "ненасытной исконной ненависти Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи - всё..." (6, 263).

Признание было спровоцировано самим Пастернаком, написавшим ей в 1926 году о сокровенных искушениях пола, которые обуревали его в летней Москве. Он назовет эти искушения "лейтмотивом вселенной", и Цветаева, прочтя письмо, вспыхивает чуть ли не презрением. Отвечая, она будет утверждать, что такого лейтмотива "не слышала в себе никогда" и что у нее вообще есть подозрение, что это только "мужской лейтмотив". Близкое утверждение мы найдем и в упоминавшемся уже письме к Черновой: "Ведь Дон Жуан смешон! (...) Казанова? Задумываюсь. Но тут три четверти чувственности, не любопытно, не в счет - я о душевной ненасытности говорю..." (6, 728). То есть чувственность даже не любопытна! Душевная ненасытность - вот что ей понятно. "Я ненасытна на души" - повторяется в ее текстах не однажды. Иначе говоря, она отрицает причуды влечений, игнорирует голос пола - по крайней мере в себе. А ведь с Пастернаком она предельно откровенна.

Откровенность, впрочем, не однажды поразит читателя в ее переписке. Так, двадцатилетнему никогда не виденному ею Александру Бахраху она признается в своей неодаренности в сфере физической любви: здесь, говорит она, "дом моей нищеты", здесь "каждая первая встречная сильнее, цельнее и страстнее меня" (6, 616). А в поэтических заготовках находим строку: "любовную любовь отбываю как повинность" (НСТ, 114).

Характерные мотивы звучат и в цветаевской лирике: это отношение к физической любви как к каторге, как к "низости", как к тяжкому "ломовому оброку" лжи. "Обделил меня Господь / Плотским пламенем", читаем в одном из стихотворений. Героиня Цветаевой с "пуховых горбин" всегда рвется "в синь горнюю" и легко отказывается от близости с любимым:

С другими - в розовые груды  
Грудей. А я тебе пребуду  
Сокровищницей подобий...

Однако биография Цветаевой предоставляет нам немало, казалось бы, бурных эпизодов, которые читатель, ничтоже сумняшеся, трактует привычным образом. Но даже вне этих бурных эпизодов: она была женой, матерью, возлюбленной, и в молодые годы склонна была - в духе эпохи - не придавать чересчур серьезного значения традиционным моральным запретам. Но и тогда решающим для нее был жесткий диктат души. Душа, Психея, а не традиционные нормы, руководила ее поступками.

И вот запись - тем более значимая, что она не попала (насколько известно до сего времени) ни в одно из писем и осталась только как личная дневниковая запись: "Единственная женщина, - пишет Цветаева, - которой я завидую - Богородица: не за то, что такого родила: за то, что ТАК зачала" (НСТ, 344).

В записях Цветаевой не слишком много прямых размышлений на темы пола. Но те, что есть, очень информативны. Например: "Пол в жизни людей - ката\_строфа. Во мне он начался очень рано, не полом пришел, - облаком. И вот постепенно, на протяжении лет, облако рассеялось: пол распылился. Гроза не состоялась, пол просто миновал. (Пронесло!) Облаком пришел и прошел" (НСТ, 133-134). Не потому ли "миновал", что с годами все прочие импульсы решительно потеснил "кастальский ток" творчества, который сама Цветаева называла главным соперником всех ее любовей? Никто и ничто не могло сравниться с ним по силе притяжения. Вместе с тем сводить творчество к сублимированному проявлению того же пола Цветаева не соглашалась. В 1923 году в письме Роману Гулю, обсуждая чью-то работу на эту тему, она писала: ""Божественная комедия" - пол? "Апокалипсис" - пол? "Farbеnlehrе" и "Фауст" Гете - пол? Весь Сведенборг - пол? Пол это то, что должно быть переборото, плоть это то, что я отрясаю. (...) Основа творчества - дух. Дух - это не пол, вне пола..." (6, 530).

Отметим: "Плоть это то, что я отрясаю..."

Сопоставляя любовь и дружбу, Цветаева не склонна считать любовь высшим чувством из тех, что связывают человека с человеком. Дружбу она ставит выше. "Не я ставлю - стоит выше, просто: дружба стоит, любовь лежит..." - записывает она (НСТ, 131). Мы прочтем и в ее стихах:

Содружества заоблачный отвес  
Не променяю на юдоль любови.

"Юдоль любови" - непреложно звучит в наших ушах "юдолью скорби". На что и рассчитано.

Все так, но ведь вот она перед нами - ее поэзия, где на пьедестал любви возложены все возможные цветы и гимны!

Любовь, любовь! И в судорогах и в гробе  
Насторожусь - прельщусь - смущусь - рванусь!  
О милая! Ни в гробовом сугробе,  
Ни в облачном с тобою не прощусь...

Как же согласовать то и другое?

А очень просто: логикой чувств, а не логикой рассудка. Потому не люблю любви, что слишком ей подвержена и слишком от нее страдаю, потому, что не умею любить умеренно, всегда люблю с терзанием и муками. "В любви меня нету, есть исступленное, невменяемое, страдающее существо, душа без тела" (6, 617). В стихах: "Я любовь узнаю по боли / Всего тела вдоль".

В цветаевских стихах неизменно звучит пренебрежение к телу - как к "тюрьме души", "склепу", в котором душа томится; тело в молодости, - говорит она, - наряд, а в старости - вериги. И только. "Тело! Вот где я его люблю: в деревьях", - запишет она однажды (НСТ, 236). И в автобиографической прозе с наслаждением вспомнит, как юной девочкой-подростком, уезжая из Тарусы в Москву в конце лета, она обнимала деревья, прощаясь с ними как с живыми.

Ураган страстей, как уже говоpилось, вовсе не был для Цветаевой всегда бесплотен. Уступка любимому оказывалась тем легче, что речь шла тут о чуть ли не третьестепенном, чему она сама не придавала значения, о чем говорила: "С наслаждением сброшу, когда умру".

Ценностью и событием были "страсти души", особые страсти, "совсем иные остальных" (6, 601). Судить о них по общим правилам было бы, по меньшей мере, странно.

**9**

Известно, что жар сердца Цветаевой пробуждали не только мужчины. В автобиографической прозе она рассказала нам и о детском своем горячем чувстве к Наденьке Иловайской, со смертью которой она так долго не могла примириться; и о нежнейшей привязанности к Сонечке Голлидэй в 1919 году. А кроме того, сохранилось цветаевское письмо к Саломее Гальперн-Андрониковой, написанное под еще неостывшим впечатлением сна, в котором она горячо любила Саломею. Многоумному читателю и критику конца нынешнего века таких свидетельств достаточно, чтобы упоенно заговорить о лесбийской природе Цветаевой.

Не стану уклоняться от настойчиво муссируемой в наши дни темы. Ее возникновение инициировано было появлением в 1983 году в Соединенных Штатах книги "Незакатные оны дни: Цветаева и Парнок" ленинградской исследовательницы С. В. Поляковой. Нынче ее издали и у нас - уж очень пришлась ко времени. Сюжет ее - история любви Цветаевой и поэтессы Софии Парнок. История непридуманная (время действия ее - с конца 1914 года до начала 1916-го), но изложенная в книге Поляковой с отчетливо ощутимой неприязнью к Цветаевой, что заставило автора прибегать и к натяжкам, и к сомнительной аргументации. Выход книги проложил дорогу изобилию домыслов, в которых теперь уже фигурируют и другие женские имена; клубок продолжает раскручиваться и сегодня - на потребу всем.

Я не буду сейчас оценивать эту pаботу Поляковой в целом, хотя многое в ней нуждается в коррективах, - обращу внимание лишь на один аспект.

Любой эпизод любой биографии не существует изолированно. Он заметно меняет свой смысл и окраску при локальном его освещении - и в контексте всей биографии, в контексте определяющих черт личности, о которой идет речь. Только второй подход может подвести нас к непредвзятой оценке сложного (или просто неожиданного) биографического момента. Между тем Полякова не делает и попытки увидеть отношения 22-летней Цветаевой и ее старшей подруги в большом контексте.

В самом деле, встреча с яркой самобытной Софией Парнок, выросшей в ближайшие годы в незаурядного поэта, до глубины души потрясла воображение молодой Цветаевой, уже тогда превыше всего ценившей совпадение "внутренних просторов". Потрясение оказалось взаимным. Между тем Парнок не скрывала своей принадлежности к "меньшинству" (как теперь говорят). Присоединим к этому уже знакомую нам безоглядную цветаевскую щедрость по отношению к тому, кто вызвал ее восторг.

Пол-жизни? - Всю тебе!  
По-локоть? - Вот она!

Первоначальное смущение (бесхитростно отраженное в первом стихотворении цветаевского цикла "Подруга") было побеждено, и отношения растянулись на несколько месяцев.

А кроме того, на дворе стояла осень 1914 года. Только что началась первая мировая война, и часть российской интеллигенции восприняла ее чуть ли не с радостью - как очищающую бурю. То было время, когда, по характеристике Федора Степуна, девицы скрывали свою невинность, а замужние дамы - верность мужьям, когда еще звучали в ушах недавние громкие споры вокруг "святой плоти" и "дионисийски-оргиастической стихии", причем в спорах участвовали самые авторитетные фигуры русского художественного Олимпа. Понятие греховного было во всяком случае крайне ослабленным, а его границы были смещены. Таков, совсем вкратце, реальный контекст той особой цветаевской любви.

Нынешние "настырные специалисты по подноготной" (превосходный термин Иосифа Бродского) притягивают к тому же сюжету и другую Софью (Голлидэй), но это уж по инерции и по большой охоте. Цветаева, не склонная вообще, как мы видели, что-либо скрывать (за что теперь и расплачивается), предвосхитила вопросы и впрямую сказала в "Повести о Сонечке": "Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства. (...) Братски обнимала. Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить..." (4, 312). Сказано - что же еще? Но пропускают мимо ушей. Скорее всего, и текста-то не читают, вот в чем дело, - не читают, а выискивают. Ведь автор сам сказал, что эта Сонечка была ее самой большой любовью! Чего еще надо? "Вы думаете - любовь - / Беседовать через столик?" - иронизировал герой "Поэмы Конца" перед расставанием с любимой. Ну, и так далее. Но и помимо Сонечек неленивые "специалисты" называют еще и еще имена... Нежная дружба - женская ли, мужская ли - для них не существует; скажите им про клятву на Воробьевых горах тех двух юношей, имена которых знал любой русский школьник в недавние еще времена, - и страшно представить себе комментарий. Впрочем, Борис Парамонов наверняка уже высказался и на этот счет...

Но вот недавно вышла в Ростове-на-Дону переведенная с английского книга Лили Файлер о Цветаевой.3 Хочется, как минимум, перевести ее дополнительно: с американских представлений на наши. Зная мало-мальски цветаевские тексты, что же надо иметь за душой, чтобы писать, например: Цветаева всегда "готова была заниматься любовью с мужчиной или женщиной"? Столь же характерно мельком брошенное "сведение" о том, что Антокольский с Завадским, дружа с Цветаевой, сами были любовниками! Как же! Ведь существует цветаевский стих: "Спят, не разнимая рук, / С братом брат, с другом друг"... А как еще спят братья и друзья у них там, в Америке?! И далее в том же духе - о всех цветаевских дружбах и встречах. Плакать или смеяться? Если так неодолимо привлекательна русская экзотика, можно ведь взяться за книгу о русской кухне, например, - особенности "загадочного" менталитета там все же сказываются меньше! Но Бог с ними, с фрейдистами, спор тут абсолютно безнадежен. У них один ответ на всё: они "так видят".

Если уж мы говорили о женщинах в жизни Цветаевой, уместнее напомнить читателю другое: например, о неистовой страсти, которая звучит в цветаевских письмах к Анне Ахматовой 1921 года. После расстрела Гумилева тогда ходили по Москве мрачные слухи о ее чуть ли не самоубийстве. Три страшных дня провела тогда Цветаева в душевных терзаниях. И в отосланном ею в Петербург в те дни письме - накал, ни на гран не уступающий тому, что звучит в ее самых страстных письмах к Пастернаку или Рильке! "Я ненасытна на вашу душу и буквы, - писала в те дни Цветаева Ахматовой. - Мне так жалко, что все это только слова - любовь - я так не могу, я бы хотела настоящего костра, на котором бы меня сожгли..." (6, 201).

Странности любовных чувств Цветаевой несомненны, однако их норовят затолкнуть совсем не в тот регистр. Напомню и то, как в течение двух лет - "день в день, час в час", - чувство юной Марины, как она сама признавалась, было обращено "сквозь все и всех" к давно умершему герцогу Рейхштадтскому, сыну Наполеона! (НСТ, 126). И еще: кто не знает цветаевские стихи, адресованные возлюбленному, который еще только родится "через сто лет"?.. Все это тоже следовало бы включать в контекст эпизода с Софией Парнок в биографии Цветаевой.

Збигнев Мациевски4 справедливо говорил в своей работе о врожденном "эмоциональном гигантизме" Цветаевой. "Душа, не знающая меры" - так сама носительница этого "гигантизма" определяла свою природу. И до сиx пор ее "чрезмерности" продолжают раздражать людей, считающих себя носителями единственно "нормальных" реакций. Александра Кушнера выводят из равновесия у Цветаевой "взвинченные чувства" и "голая страсть"; Юрий Кублановский пишет о цветаевском "горячечном романтизме" и о "неумеренной, коробящeй экзальтации"; Олеся Николаева находит в цветаевских стихах аффектацию и женскую истеричность. Все бы ничего, но - раздражение, категоричность, враждебность! Что-то здесь превышает чисто литературные вкусы...

Познакомимся, однако, с еще одной точкой зрения на особенности природного склада Цветаевой. Спокойной и аргументированной. Е. Л. Лаврова, автор превосходной работы "Поэтическое миросозерцание М. И. Цветаевой", вышедшей на Украине (Гоpловка, 1994), пришла к выводу о двойственности цветаевской психофизики. Она обращает внимание на то, что в этой психофизике сочетались мужские и женские черты, причем те и другие были достаточно сильно выражены. Духовное начало Цветаевой, утверждает Лаврова, не считало себя женщиной и находилось в противоречии с ее телесной оболочкой. Ее психофизика была андрогинной, то есть наделенной ослабленным чувством половой принадлежности. Исследовательница приводит высказывания Николая Бердяева, а также суждения Василия Розанова и Владимира Соловьева, обращавших внимание на то, что андрогинами были многие гениальные люди, зачастую и сами не знавшие об этом.

Исследовательница напоминает, что натуре Цветаевой всегда был близок идеал и тип амазонки, являвшейся не вполне женщиной как в биологическом, так и в социальном смысле. И мы вспоминаем эпизод из жизни совсем юной Марины (описанный ею в прозе "Отец и его музей"), когда она выбрала в подарок себе - из множества предложенного - гипсовую голову амазонки. Вспоминаем и предводительницу амазонок Пенфесилею в цветаевских стихах 1923 года ("Не суждено, чтоб сильный с сильным..."), и завоевательную интонацию цветаевских стихотворений, не слишком характерную для традиционной женской любовной лирики ("Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...", "Где бы ты ни был - тебя добуду..." и т.п.). Вспоминаем и присущее обычно мужской поэзии воспевание красоты возлюбленного (например, в цикле "Комедиант" и в стихах, посвященных мужу). И прозаическое "Письмо амазонке", написанное Цветаевой в 1934 году. Письмо это, во всяком случае, исполнено сострадания к тем, кто оказался в пресловутом "сексуальном меньшинстве".

Е. Л. Лаврова отмечает черты, безусловно заслуживающие нашего внимания; вышедшие позднее "Сводные тетради" не раз дают подтверждение размышлениям исследовательницы.

Привлекая внимание к реальным особенностям цветаевской натуры, Е. Лаврова подытоживает: "В ней не было обыкновенности". Между тем, отмечает исследовательница, многие из опубликованных воспоминаний грубо искажают облик поэта, выдавая лишь злобствование (и буйную фантазию) обывателя, жаждущего унизить то, что выходит за рамки его понимания. А также, добавлю я уже от себя, - понежиться в скандальной тине, раз уж им нечего сказать о творчестве великого поэта.

**10**

Бесспорно, что перед нами - яркий феномен. К счастью для нас, человек, в котором он воплотился, оказался награжден еще и даром записи, письменной речи, и, кроме того, даром самонаблюдения - да еще и в сочетании с почти неправдоподобной искренностью.

И мы уже достаточно поговорили о том, что в основе многих странностей лежит особая органика Цветаевой, обусловившая появление в русской поэзии не одного блистательного шедевра. Однако нам этого недостаточно, когда мы сталкиваемся, например, с цветаевским страстным провозглашением ненужности взаимной любви или с ее страхом перед реальными встречами, с гимнами "заочной" любви или с утверждением о роковой невоплотимости на земле высоких отношений между людьми. Тут нам придется говорить уже не о природном складе поэта, а о над-природном пространстве его духа.

В начале 1920-х годов в мироощущении Цветаевой произошли столь серьезные изменения, что период этот вполне можно назвать "сменой вех": решающие позиции в ее духовном мире заняли совершенно иные, чем прежде, ценностные координаты. Грубый, так сказать, "бытовой" материализм первых революционных лет, люмпенское отрицание значимости духовного начала бытия - в сочетании с агрессивным атеизмом - сыграли свою роль. И с начала 1920-х годов главным интересом и попечением Марины Цветаевой становится как раз то, что оказалось попранным в окружавшем ее мире.

Знаменательно: в цветаевской лирике резко меняется облик героини. Если для молодых ее стихов характерны были Мариула, Кармен, Манон, прославление безоглядного своеволия и грешной земной любви, то теперь приходят на смену голоса Сивиллы, Эвридики, Ариадны, Федры, голос собственно "авторской" героини. И все они - героини уже трагедийные. Они знают притягательные радости земной любви, но знают и то, что над ними, они уже не могут быть счастливы прежним, в их виденье мира проступило новое измерение: "голос правды небесной против правды земной". Но, как сказала однажды сама Цветаева, "четвертое измерение мстит!". Мстит уходом легкости существованья и взлетом требовательности - к себе и к миру. Появление новых героинь - всего лишь знак стремительного разрастания в Цветаевой трагедийного чувства, знак утраты надежд и доверия к миру, знак решительной победы отречения над прежней раскрытостью к живой жизни.

Жизнь - это место,  
Где жить нельзя:  
Ев-рейский квартал...  
  
Так не достойнее ли во сто крат  
Стать вечным жидом?  
Ибо для каждого, кто не гад,  
Ев-рейский погром -  
Жизнь.

Эти строки "Поэмы Конца" прозвучали формулой высокой трагедии. Так во\_площала Цветаева в зрелые годы творчества свою убежденность в безысходной трагичности земной судьбы человека, обрекающей его на безрадостную цепь невоплотимых упований. То была уже не только реакция на революционные события, но и пессимистический взгляд на развитие "технического прогресса" и цивилизации в целом.

Спустя десятилетие тот же взгляд на мир будет сформулирован экзистенциальной философией (Сартром, в частности). Иосиф Бродский, характеризовавший жизненную позицию Цветаевой как стойкий отказ от примирения с существующим миропорядком, считал, что по этой стезе отказа "Цветаева прошла дальше всех в русской и, похоже, мировой литературе. В русской, во всяком случае, она заняла место чрезвычайно отдельное от всех - включая самых замечательных - современников..."

Естественно, что новая Цветаева увидела "пространство любви", столь необходимое человеческому сердцу, уже отрешившись от своего недавнего вызывающего легкомыслия. Она обрисовывает теперь пространство "заочности" ("Zwischen-raum", назвал его на свой лад Рильке), просторное для души и духа. Жизнь, какой ее создал человек, "мир мер", не знающий цены духовным и душевным "невесомостям", всегда будут враждебны чаяниям и устремлениям чистой души. И только в "заочности" может уцелеть высокая любовь, укорененная в мире "существенностей". Да, такая любовь подобна журавлю в небе, она лишь для тех, кого Цветаева назвала "небожителями любви". Людское же большинство - "простолюдины любви" - выбирают синицу в руках.

Ибо надо ведь - хоть кому-нибудь  
Дома в счастье, и счастья - в дом!

Но со временем они почти всегда убеждаются, что потеряли не только журавля: "Так и умрут с синицей в руках, - писал о них философ Лев Шестов, друг Цветаевой, - и никогда не увидят ни журавлей, ни небес" ("На весах Иова").

Завершу этот своеобразный реестр цветаевских высказываний о любви последней цитатой. Это дневниковая запись; не готовые выводы, а процесс мучительного размышления - и читать текст не слишком просто.

Франция, 1938-й, за три года до гибели. "У стойки кафэ, глядя на красующегося бель-омма - хозяина(...) - я внезапно осознала, что я всю жизнь прожила за границей, абсолютно-отъединенная - за границей чужой жизни - зрителем: любопытствующим (не очень!), сочувствующим и уступчивым - и никогда не принятым в чужую жизнь - что я ничего не чувствую, как они, и они - ничего - как я - и, что главнее чувств - у нас были абсолютно-разные двигатели, что то, что для них является двигателем - для меня просто не существует - и наоборот (и какое наоборот!).

Любовь - где для меня всё всегда было на волоске - интонации, волоске поднятой, пpиподнятой недоумением (чужим и моим) брови - Дамокловым мечом этого волоска - и их любовь: целоваться - сразу (как дело делать!) и, одновременно, за 10 дней уславливаться (...) в Р(оссии) было - то же самое и везде и всюду - было и будет, п.ч. это - жизнь, а то (т.е. я) было (есть и будет) - совсем другое.

Как его зовут??" (НСТ, 555-556).

Слова, я думаю, нет. Есть имя: Марина Цветаева.

\* \* \*

Я начала эту работу, дабы проверить догадку относительно особого содержания цветаевского "люблю". И убедилась: это слово в ее собственном понимании редко означает всем знакомое чувство. В принципе это важно знать прежде всего биографу или литературоведу-интерпретатору: ведь стихи и проза существуют автономно от авторской биографии и авторских свидетельств. Но в наше бесцеремонное время приходится думать и о тех, кто сталкивается - в статьях и книгах - с широко ветвящимися фантазиями, нередко весьма грязного свойства. Вот почему нелишне печатное слово, противостоящее домыслам. Живая истина всегда несравненно интереснее и богаче.

1 Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. М., 1995, с. 703. Далее ссылки на это издание даются сокращенно в тексте - том и страница в скобках.

2 Марина Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997, с. 525. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с обозначением "НСТ" и указанием стpаницы.

3 Лили Файлер. Марина Цветаева. Ростов-на-Дону, 1998.

4 З. Мациевски. Многоплановость любовной лирики Марины Цветаевой. Lublin, 1984.